

В. А. СОЛЛОГУБ



ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Владимир Александрович Соллогуб

Воспитанница[1]

Посвящено Н. В. Гоголю

Теменевская ярмарка. Эпизод второй Повесть

Несколько лет сряду не был я в нашей провинции.

В нынешнем году привелось мне снова поехать по православным дорогам и, признаюсь чистосердечно, не без душевного трепета принес я бока свои на жертву мостовым, гатям, косогорам, отслужившим мостам и прочим препровождениям времени, насмешливо ожидающим свою измученную добычу. К удивлению моему, благодаря распоряжениям теперешнего почтового начальства, в лошадях задержки нигде не было, а на станциях заметил я опрятность, водворенную, разумеется, попечениями местных властей. Кое-где проглядывало даже губернское шоссе, которое, однако ж, по несчастию, всегда лежало в стороне от моего пути.

Случай привел меня в губернский город X; и тут заметил я разные утешительные улучшения в наружности в нашем губернском быту: в наружности и во внутренности домов уже реже встречается прежнее неряшество; постоянное пьянство начали почитать несчастием; на отъявленных взяточников уже указывают пальцами; мужчины читают иностранные газеты, а на дамских столиках лежат брюссельские издания и разные книжонки русского изделия, в числе которых — прошу не прогневаться — и мои смиренные повести.

Гуляя по новым тротуарам, любясь новыми щегольскими зданиями, украшающими губернский город, я всякий раз останавливался перед одним большим каменным домом, который, кажется, был забыт в общем преобразовании. Сумрачная величавость его казалась окаменевшим преданием другой эпохи. Видно было, что этот дом, построенный со всею роскошью итальянской архитектуры, кипел когда-то жизнью, светил из окон веселыми огнями и гордо поднимал голову над всеми окружавшими домиками. Я верю в жизнь и в смерть безжизненных предметов, и оттого странный дом смотрел для меня покойником; и точно, казалось, что он давно уже умер...

Красные трещины бороздили его почерневшие стены, зеленоватые стекла тусклых окон местами были перебиты, местами заклеены исписанной бумагой. Балкон исчез вовсе, оставя только четыре колонны с отвалившеюся штукатуркой. Кое-где выглядывали из-под кирпичей чахоточные растения с желтенькими цветочками. Ворота отворены настежь, а на дворе, заросшем густой травой, валялось несколько пустых бочек. Ни одной человеческой души не было видно в этом опустошенном, отжившем жилище.

Ближний лавочник, к которому я обратился с вопросом, объяснил мне, что в этом доме помещалась прежде питейная контора, но что теперь она перенесена на другой конец города. Такого объяснения было для меня недостаточно. Губернский стряпчий, с которым я был знаком, сообщил мне, что дело об этом доме находится теперь у него на рассмотрении; что в деле с лишком пятнадцать тысяч листов; что он предмет тяжбы между многими лицами, и отдан под надзор Дворянской Опеки.

Больше стряпчий ничего сказать мне не мог, потому что был определен на место недавно, а собственно дела не принимался еще читать, по многосложности своих занятий.

Наконец один говорливый губернский старожил удовлетворил моему любопытству. Как только речь зашла о странном доме, глаза его оживились, стан выпрямился; он весь помолодел от воспоминаний молодости.

«В этом доме, — говорил он, — прошли лучшие минуты — моей жизни. Я был принят в нем как родной. Весело жила в старину, не то, что ныне. И что за молодежь была! каждый день балы, театры да сюрпризы». Я терпеливо выслушал длинную биографию старика, в которой решительно ничего не было занимательного. Давно ли, кажется, он был и юн и свеж, танцевал, влюблялся, был весел; кажется, вчера. И что же? не успел оглянуться, предметы его любви сделались бабушками, а сам он только и годен на то, чтоб целый день играть в карты.

Когда же я начал расспрашивать его о самих хозяевах дома, он мне рассказал такой необыкновенный случай, что я ни минуты не усомнился в истине происшествия.

Вымысел никогда не достигнет странностей, которые иногда представляет нам жизнь. Я записал рассказ словоохотливого старичка и передаю его читателю точь-в-точь, как слышал.

Около сорока лет назад в губернском городе была необыкновенная суматоха. Полицмейстер чинил и красил все, что только может быть починено и окрашено. Из Петербурга ожидали важного вельможу, графа ***.

Всего страннее было то, что граф приезжал не для ревизии, не проездом в свои вотчины, а с тем, чтобы основаться и жить в городе. Губернские чиновники толковали шепотом между собой о столь непонятном намерении, шепотом раздавались разные предположения о царской немилости, о внезапной отставке, но никто не знал и не узнал настоящей причины графского переселения. Как бы то ни было, а для приема графа готовился дом пышный и великолепный, в итальянском вкусе, словом, такой, каких никогда в губернских городах не бывало. Присланный из Петербурга архитектор сам всем распоряжался.

Каменщики, плотники, обойщики работали неутомимо.

Наконец дом был готов, и граф приехал. Он был еще не стар, холост; но сердитый вид, желтый цвет лица обнаруживали в нем какую-то тайную болезнь. Руки по швам, с трепетными сердцами, в застегнутых мундирах, представились ему все должностные лица. Граф горько улыбнулся, просил не церемониться и ушел в свои внутренние покои. С тех пор его видели немногие. Он избегал общества и посещал только, и то когда не было гостей, губернаторский дом. Губернатор жил, по правилам того времени, чрезвычайно хлебосольно и, не думая о большом своем семействе, весело проживал все свое достояние. Как описать его восторг и удивление всего города, когда вдруг нелюдимый граф начал свататься за его старшую дочь. Огромное богатство его, значительный чин, связи, имя не допускали и тени колебания. Графская свадьба была новой неизъяснимой загадкой для любопытных горожан. Толкам и разговорам не было конца. Ожидали приемов, увеселений, балов от богатой четы, но граф остался верен своей затворнической жизни. Свадьбу отпраздновали тихомолком. Слышно было только, что дом новобрачных сделался настоящим дворцом. Из Петербурга привезены были разные мебели, разные предметы роскоши, о которых и понятия не было в провинциальных воображениях. Тщетно самые отважные умоляли раззолоченных лакеев и графского, камердинера, Федорова, допустить их полюбоваться столичным диковинкам — всем был отказ: графская воля была непреклонна.

У богатых и могучих людей есть такие тайные огорчения, такие безыменные недуги, которые вовсе непонятны простолюдинам. Графа мучила придворная болезнь. Привыкнув к беспрестанной борьбе с другими вельможами, вечно взволнованный честолюбием и завистью, вечно алчущий новых почестей и отличий, он изнывал под бременем своей

независимости. Низкие поклоны его прошедшему значению были для него ненавистны и обидны, как напоминание о его настоящей немощи. Чем ниже кланялись ему люди, тем выше казалось ему утраченное счастье, тем болезненнее лишение могучего сана. Он возненавидел людей; он ни в чем более не принимал участия. Тоска грызла его сердце; он таял с каждым днем; ночи проводил без сна. Он сам наконец ужаснулся своей черной немочи и возмечтал на минуту подавить изводящие его чувства свежими впечатлениями брачной жизни. Он женился тогда на губернаторской дочери, единственной возможной для него в городе, осыпал ее подарками и жадно отыскивал в душе своей искры любви. Но все было напрасно: в словах молодой жены звучали для него другие слова; он холодно и мрачно глядел на ее молодые прекрасные черты; глядя на нее, взор его оставался без выражения, и он думал о столице. И этот же взор вдруг воспламенялся; сердце его начинало биться, когда он читал в газете весть о возвышении своих сверстников. Несчастье графа усугубилось еще печальной покорностью молодой, удивленной супруги. Года два продолжалась эта пытка. Однажды граф прочитал, что самый злой его недруг получил ленту, которой он сам никогда не удостоился. Это был последний для него удар. Он слег в постель и не вставал уже более. Через несколько времени он умер, оставив, по завещанию, вдове своей все свое богатство.

Графиня была совершенно противоположного свойства. Природа ее, если можно так выразиться, была провинциальная. Она не знала жгучих страстей, не обладала большим умом, имела сердце, склонное к ленивой нежности; она чувствовала, что ей не доставало чего-то в жизни, но не допытывалась, чего именно. Отдав себя, в угоду родителям, на жертву мрачного супружества, она отогнала навеки те легкие видения, те крылатые мечты, которые неясно толпятся в розовом тумане у девичьего изголовья. После смерти графа графиня была снова свободна, но она отклонила мысль о новом браке, даже по выбору сердца. Богатство, оставленное ей графом, казалось ей обязательством не изменять его имени.

Ей бы стыдно было разделить с другим благодеяния первого супруга. Разумеется, в губернском городе она не осталась. Отец ее был отозван в Петербург. пышный дом был замкнут со всех сторон надежными замками и отдан под надзор верного и молчаливого сторожа.

Много лет жила графиня и в русской столице и в чужих краях, но имя ее не гремело на перекрестках.

Она сохранила ту женственность, ту странную робость, которые развились в ней во время ее прежней провинциальной жизни. Многие она видела, многие она слышала, но ни к чему светскому не могла привыкнуть. Ей как-то неловко было среди ложных печалей и ложных радостей, которых она не выучилась понимать. Часто среди многочисленных обожателей, привлеченных ее красотой и в особенности богатством, переносилась она мыслью в тот некрасивый городок, где все было под лад ее простых навыков. Ей жаль было и маленьких домиков, где жили подруги ее детства, и церкви, куда она ходила ко всеобщей, и садика, где она играла с сестрами и братьями, и лавок с знакомыми купцами, и старушек, которые ее любили, и нищих, которым она так часто подавала милостыню. Графиня сделалась важной дамой по ошибке и несла богатство свое как иго. У нее детей не было, хотя материнская любовь как-то более всех шла к ее нежно любящей природе. Она это сама чувствовала, и потому все заботы свои, все сердечные свои попечения устремила на свою воспитанницу.

Но каким образом это случилось, того графиня сама не знала. Еще при жизни графа бегала по роскошным комнатам графского дворца маленькая, кудрявая девочка с большими черными глазами. Ребяческие ее шалости, звонкий смех наводили иногда что-то сходное с улыбкой на суровое чело честолюбца. Графиня брала девочку к себе на колени, расчесывала ее шелковистые кудри, ласкала ее, играла с ней и слушала по целым часам ее младенческий лепет. Безмятежно-нежное воображение графини нашло наконец себе занятие или, лучше сказать, игрушку. Маленькая Наташа, дочь графского камердинера Федорова, забавляла ее не только как живая кукла, как собачка с речами, словом, как обыкновенная у губернских

барынь фаворитка, но занимала еще в душе ее, просящей обмана, место дочери. Наташа была разряжена, лазила по креслам и диванам, ручонками обхватывала шею графини, выпрашивала у нее все, что только задумывала, и ни в чем не получала отказа. Когда граф скончался, присутствие Наташи сделалось для графини настоящею необходимостью. Графиня сама принялась ее учить, посадила ее с собою за стол, за которым служил Наташин отец, и с каждым днем все более и более привязывалась к милому ребенку. Чувство это еще более вкоренилось в графине, когда Наташа сделалась сиротой. Мать ее умерла еще родами, а Федоров скоро последовал за своим барином.

Пришла, однако ж, минута, когда графиня испугалась своего легкомыслия. Наташа росла как барское дитя, дитя доброе, дитя милое, но своевольное, избалованное, привыкшее к роскоши, требующее угождений.

Графиня вдруг вспомнила о последствиях столь безрассудного воспитания. Общество, посреди которого она жила, никогда не простит сироте, что она дочь крепостного человека, и вечно будет ее преследовать своими оскорблениями. Графиня вздумала было отослать Наташу в девичью, откуда бы ей никогда не следовало выходить, но не могла решиться. Сердце графини сжалось, и, как все женщины слабого характера, от одной крайности она перешла в другую: Наташу решительно признала дочерью, взяла для нее французскую гувернантку, стала обучать ее и музыке, и рисованью, и модным танцам. Прошло несколько лет, и Наташа была уже молодая девушка собой не то чтоб красавица, а то, что губернские барышни называют интересная. Большие ее черные глаза сверкали беззаботным веселием; стройный стан, светлая улыбка, приятный, звучный голос придавали целому существу ее нечто гармоническое. Нельзя сказать, чтоб она отличалась сверхъестественным остроумием, решительностью нрава и большими сведениями.

Она училась ни дурно, ни хорошо, как все богатые барышни; любила петь, любила ездить верхом, наряжалась с большим удовольствием и боготворила свою маменьку.

В то время графиня решилась осуществить тайный свой любимый замысел. Она слишком хорошо знала, что ожидало Наташу в петербургском свете, и потому, чтоб избавить ее от неизбежных огорчений, приказала приготовить свой дом в том губернском городе, где провела детство и где близко находилось ее имение.

Губернский город десять лет сряду ожидал каждый год возвращения графини. Можно представить общее волнение, когда узнали о скором и непременно ее прибытии, вместе с веселой и молодой воспитанницей. В городе сделалась страшная беготня. Франты выписывали себе новые пары из Москвы; девушки заготавливали поразительные и притом дешевые наряды; чиновники запасались круглыми шляпами, купцы закупали всякий новый товар. Весь город был в восхищении, кроме двух или трех сердитых старух, которые утверждали, что не дозвоят своим дочерям быть в компании с холопкой.

Однако ж, когда графиня приехала к ним в щегольской карете с визитом и объявила, что, в угождение Наташи, хочет жить открыто, давать вечера и балы, старухи расчувствовались, расцеловали Наталью Павловну и, облачась в матерчатые платья, первые явились на зов графини.

Великолепный дом, до того времени недоступный любопытству горожан, вдруг заискрился огнями, закипел весельем и жизнью. Душой этого дома была Наташа.

Отделавшись от скучных книг и уроков, она только и думала, что об удовольствиях; подружилась со всеми губернскими барышнями, познакомилась со всеми губернскими

щеголями. Она была уж не ребенок; она делала все, что только приходило ей в голову, и графиня, радостно отказавшись от собственной воли, никогда не противилась ее желаниям.

Надо знать обыкновенную скуку наших губернских городов, мелочные расчеты их скудной жизни, чтоб иметь понятие об общем впечатлении при роскошных приемах, при беспрестанных весельях, вдруг озадачивших целую губернию. Начали съезжаться из самых далеких уездов.

Губернский город зажил так весело, как никогда еще ему не случалось и, вероятно, никогда не случится.

Празднества начались, разумеется, балами. Каждое воскресенье весь город пировал у графини. Старики играли в карты и ужинали с большим аппетитом. Старухи сплетничали вполголоса. Молодежь плясала без усталости. Всем было чрезвычайно приятно, и Наташа, в легком наряде, упоенная бальной музыкой, оживленная молодостью и удовольствием, порхала как мотылек, не понимая, чтоб могло быть кому невесело на свете. Она носилась, вертелась с своими неуклюжими кавалерами, и чувство ее живой радости отражалось улыбкой на спокойном лице графини. Кроме воскресных больших балов, каждый день был посвящен на какое-нибудь удовольствие. Все молодые помещики, все офицеры в отпуску находили каждый вечер у графини роскошный и радушный прием. Разумеется, некоторые сердца воспылали, некоторые взоры стали выразительны, но Наташа смеялась над этими признаками начинавшейся страсти, бегала, носилась, вальсировала, скакала верхом посреди своих обожателей, и других замыслов не имела, кроме новых забав.

Таким образом, с помощью своей гувернантки, устроила она для именин графини домашний спектакль. Играли пьесу г-жи де Жанлис «La Rosiere de Salency»[2]. Это нововведение было принято с восторгом. Наташа исполнила главную роль с такой естественностью, с таким чувством, что все зрители, даже не понимавшие французского языка, были в полном восхищении. Графиня была тронута. Один старый помещик, разорившийся на музыкантах, тут же объявил, что жаль, что Наташа не рождена актрисой; но, говоря это, вдруг смешался, почувствовав, что сказал глупость.

Первая попытка Наташи в драматическом искусстве была увенчана таким блистательным успехом, что решено было ее повторить. Всю зиму разыгрывались у графини разные французские пьесы, комедии, водевили, даже драмы. Все губернское общество поочередно являлось на подмостках благородного театра. Прокурор заслужил немалую известность в патетических ролях, а председатель какой-то палаты обнаружился отличным комиком.

Само собою разумеется, что Наташа все-таки была лучшим украшением каждой пьесы; в ней действительно был сценический талант. Она выговаривала чисто, пела с большим выражением, играла естественно; к тому же она была и молода и прекрасна. Графиня несказанно всем этим тешилась.

Не надо, однако, думать, чтоб беспрестанные удовольствия изменили совсем губернский город: сплетни все-таки шли своим порядком. Некоторые дамы, те именно, которые более всех льстили Наташе в глаза, называя ее ангелом, красавицей, неоцененной, несравненной и проч., заочно терзали ее со всем ожесточением зависти.

Они находили, что ее развязность, ее свободное обращение с мужчинами совершенно неприличны; что она забывается, кокетничает и жеманится. Скупые мужья сердито ворчали, что графиня губит город своей роскошью; что жены их с ума сошли на кисеях и тюлях вовсе не по их карману и что если правительство не остановит этого мотовства, то им придется переехать в другой город. Молодые подруги Наташи часто уязвляли ее колкими намеками, но Наташа их не понимала. Она знала, что она не дочь графини, но никогда не думала о том, потому что сама графиня, казалось, о том забыла.

Впрочем, доброжелатели ее распустили слух, что она вовсе не дочь камердинера, а в самом деле незаконная дочь графа, чем и объяснялась тайна ее воспитания. Это открытие было вменено ей в особую почесть, в необыкновенное счастье, и привлекло целое стадо женихов.

Графиня не раз говорила, что она оставляет своей питомице часть своего богатства, и трудно представить, сколько внезапных страстей развили эти простые слова.

В течение двух лет, почти каждую неделю в кабинете графини слышались предложения руки и сердца, мольбы о счастии жизни. Наташа смеялась. Не понимая еще любви, она страшилась супружества. И зачем, говорила она, было менять ей на неизвестное свою веселую, беззаботную жизнь? И как она решится оставить свою маменьку? При этих словах начинались целованья, проливались две-три слезы, и новые удовольствия изглаживали грустное впечатление. Женихи расходились с длинными носами и пустыми карманами. Наташа была провозглашена существом без души и сердца, интриганкой, обманывающей доверчивую благодетельницу из тайных замыслов и подлой корысти.

Однажды графине было как-то чрезвычайно грустно.

— Послушай, Наташа, — сказала она, — надобно, однако ж, о тебе подумать. Пока я жива, тебе, я знаю, хорошо; но ведь я могу умереть: с кем ты тогда останешься?

— Я не переживу вас, — отвечала, содрогнувшись, Наташа.

— Полно, милая, говорить пустяки, — продолжала графиня, поцеловав свою воспитанницу в лоб. — Ты молода и здорова, слава богу... тебе еще долго жить на свете. Только вот что я думаю: не пора ли остепениться. Не век же молодой, замуж надо все-таки выйти.

— Зачем? — спросила Наташа.

— Затем, чтоб меня успокоить. Есть же добрые люди на свете: выбирай кого хочешь. Дай мне поглядеть на твое счастье.

— Если вы этого хотите, маменька, — сказала Наташа, — выберите сами. Я рада исполнить вашу волю.

— Будем выбирать вместе. Те, которые сватались, недостойны тебя — это правда; ну, да не все такие. Я слышала вчера о прекрасном человеке, который скоро сюда будет. Он не богат, да это не беда. Я тебе отдам в день свадьбы назначенные тебе деньги...

— Не надо, — возразила Наташа, — я не выйду замуж за человека, который захочет разлучить меня с вами.

Графиня улыбнулась. Яркими красками описала она свою будущую жизнь. Наташа с мужем останутся в ее доме, который, однако ж, надо будет переделать. Верхний этаж назначался для детских. Графиня любила маленьких детей и намеревалась сама нянчиться с ними.

Потом они подрастут, и за ней, старухой, будут ухаживать, и она тихо угаснет на их руках. Все это было прекрасно обдуманно и весьма удобоисполнимо. Но одно обстоятельство всему помешало. На другой день графини не было на свете: нервический удар разом пресек ее мирное существование.

Наташа весело скакала на своей любимой лошади по окрестностям губернского города во время этого страшного происшествия. Подъезжая к дому, она вдруг заметила необыкновенное в нем волнение. Люди, бледные, бегали по лестнице; у подъезда толковали губернского доктора, пожимая плечами; внутри дома слышались женские вопли. С ужасом соскочила Наташа с лошади и бросилась к комнате своей благодетельницы. Увы! на кровати лежал уже безжизненный труп. Наташа пошатнулась и без чувств упала на пол.

Несколько часов лежала она в совершенном беспамятстве, но ей еще рано было умирать. Когда она пришла в себя, ей показалось, что она уже не живет более и только присутствует при жизни. Дико глядела она кругом мутным, неопределенным взором. Комната была наполнена людьми. Какие-то зеленые тени шептались между собою и указывали на нее с каким-то грубым сожалением. Пришли священники и начали служить панихиду. Наташа еще ничего не понимала. Ни слез не было в ее глазах, ни слова от нее не было слышно; она стояла как истукан. Черты ее до того изменились, что страшно было смотреть на нее. Так прошли четыре дня.

Наташа видела, что люди подле нее крестятся, и она крестилась, и творила земные поклоны, но молиться не могла: душа ее была впотьмах. Вдруг на улице сверкнули факелы; к подъезду подъехали дроги в шесть лошадей, покрытых черными попонами. Вся улица кипела ожидавшим народом; все городские жители сбежались на похороны. И надо сказать, что таких пышных похорон еще и не бывало в губернском городе. Главные городские чиновники, в мундирах, несли бархатный гроб вниз по лестнице. Преосвященный шел впереди с своим духовенством. Певчие запели. Шествие потянулось за городскую заставу. Наташа шла за гробом.

И вот уже окончился обряд отпевания. Отверстая могила ожидает своей добычи. Преосвященный благословил последнюю обитель усопшей рабы божией. Певчие пропели вечную память. Могилу начали засыпать.

В эту минуту резкий, пронзительный крик заставил содрогнуться всех присутствующих. Наташа бросилась на землю, жадно начала ее целовать и слезы ключом брызнули из глаз бедной сироты — она только тогда поняла свою утрату. Чувство едкой горести, безотрадного одиночества вдруг пробудилось в ней с чувством жизни.

Народ уже разошелся, вечер уже сменил утро, а она все молилась и рыдала у праха своей благодетельницы.

Вдруг женский голос раздался подле нее, и ей послышались странные слова:

— Как ей, бедненькой, и не плакать... Ведь графиня ей ничего не оставила.

— Духовной не успела, сердечная, написать, — отвечал другой женский голос, — точно, как не плакать! Ведь у нее алтына, у бедной, нет. Наша сестра, бесприютная... Каково-то ей будет? Уж точно несчастье!

Наташа оглянулась.

На ближней гробнице сидели две нищие старухи, из числа тех, которые всегда шатаются по похоронам; они вздыхали притворно и, разговаривая между собой, насмешливо поглядывали на сироту.

Наташа, испуганная странным истолкованием ее горя, убежала обратно к городу; но у заставы она остановилась... Куда идти ей? Медленно дотащилась она до дома, в котором промчались такие счастливые минуты.

Около дома суетились полицейские, а у подъезда дожидалась бедная чиновница.

Надо знать, что по возвращении от похорон графини первые барыни губернского города собрались сеймом.

Заседание открылось, разумеется, вздохами, сожалениями, поучительными фразами о шаткости всего земного и мало-помалу обратилось в злословие. Укоряли графиню за пристрастие к дворовой девушке, которую тут же разжаловали из дочерей графа в дочери

камердинера; толковали о безрассудности ее воспитания, рассказывали о ней совсем небывалые случаи и спрашивали, что с ней будет. В гувернантки она не годится, потому что избалована; в компаньонки и подавно. Одна барыня взяла бы ее к себе, да собиралась ехать в Петербург; у другой не было детей: она боялась, что Наташе будет скучно; у третьей были дети, но она опасалась для них дурных примеров; у четвертой дом был не так расположен. Словом, все отказались от девушки, перед которой иные еще недавно подличали; и не будь бедной чиновницы, Наташа решительно осталась бы без приюта.

Бедная чиновница на сейме не присутствовала, но она была женщина с добрым сердцем, и потому дожидалась у подъезда.

— Наталья Павловна, — спросила она, — позвольте узнать, где вы будете жить теперь?

— Не знаю! — отвечала Наташа.

— Помилуйте-с... как же это? Я человек небогатый, семейство большое, у мужа жалованье маленькое, однако ж, если вы не побрезгуете бедными людьми, так у нас можете найти уголок.

— Мне совестно, — прошептала Наташа.

— Помилуйте, чего тут совеститься? Разумеется, вы сами не захотите долго у нас оставаться, а так, на первое время... покамест успеют написать наследникам... Они вас, верно, не оставят.

— Бог наградит вас! — печально вымолвила Наташа и отправилась на новое свое жилище.

Чиновница была точно женщина небогатая; она помещалась в четырех комнатах с мужем и детьми, которых было шестеро. Чиновник был честный человек и оттого терпел нужду. Лучшую свою комнату, ту, которая находилась подле кухни, отдали они Наташе. Эта комната была убрана едва ли не похуже лакейских в графском доме. Когда они вошли в нее, в медных шандалах светились сальные огарки. Босая служанка приготовляла кровать. За дверью раздавался детский писк, и неизбежная с русской бедностью нечистота придавала всем предметам какой-то печально-неприятный оттенок. Наташа взглянула на все это равнодушно; все внешнее было для нее дело постороннее. Она углубилась в самое себя; она, так сказать, жила в своей печали.

Много дней прошло в грустном однообразии. От иных подруг услышала она несколько слов холодного сожаления, от других ничего не услышала. Казалось, что она умерла вместе с своей благодетельницей, и мгновенно постигла она, бедная, отвратительный эгоизм человечества. Прежнее ее веселье исчезло. Она была уж не беззаботным ребенком, а существом страдающим, за один раз испытавшим все обманы жизни. И на могиле своей благодетельницы постигла она всю суетность этой жизни. Падая во прах на землю, она сблизилась душою с небом, устремилась молитвою за облака — и облегчила свою тоску. Безрассудность своей первой молодости заменила она тихим спокойствием, тихой покорностью велениям судьбы.

Между тем чиновник и губернатор писали неоднократно к наследникам графини, прося о пособии для ее воспитанницы. После долгого и напрасного ожидания губернатор препроводил к Наташе полученную им сторублевую ассигнацию, пожертвованную самым щедрым из графских родственников. Великолепный дом, в котором жила графиня, был нанят откупщиком. Вещи и мебели вытребованы в Петербург. Через несколько времени разнесся слух, что наследники начали между собою тяжбу. Дом остался без жильцов и присмотра. Мало-помалу он начал разрушаться и дошел до настоящего состояния, а тяжба и по сие время еще не кончена.

Когда дознано было, что Наташе не предстоит никакого наследства, чиновница мало-помалу начала изменять с ней свое обращение. Прошел год после смерти графини, и присутствие Наташи было действительно весьма тягостно для бедного семейства. Она это чувствовала и всячески старалась помогать своим благодетелям, хлопотала по хозяйству, учила детей их. Она начала ходить на рынок покупать провизии, но получала за то только выговоры, потому что не умела выбирать и платила слишком дорого. С детьми тоже она не умела обходиться, баловала их; ей и за то доставалось. Не трудно сделать доброе дело, трудно его выдержать. Чиновница была не дурная женщина, но в вечной борьбе с своей скудной жизнью она утратила то чувство деликатности, которое дает цену благодетелью. Она то и дело что твердила Наташе об общей дороговизне, о нуждах большого семейства, даже о том, что она могла бы Наташину комнату отдавать внаймы. Часто муж бранил ее за такие речи, и она отвечала ему визгливым тоном, жалуясь на то, что посторонняя отнимает у них хлеб собственных детей. Наташа слышала эти ссоры из своей комнаты и решила во что бы то ни стало освободить их от себя.

Но как это сделать? Куда идти ей? Наташа отправилась к своим знакомым; к тем, которые ей некогда завидовали, и просила их доставить ей какое-нибудь место! Ее приняли с видом покровительства, просили зайти в другой раз, обещались похлопотать, справиться. Но мест нигде никаких не открывалось, а время все шло, и каждый день нетерпение чиновницы становилось явственнее и грубее, и каждый день положение бедной Наташи было нестерпимее.

Грустно шла она однажды по улице, поникнув головой; она чувствовала, что она лишняя на земле, что она уж никому не нужна и обременяет только собой приютившее ее семейство. С ней встретился тот старичок, который так восхищался некогда ее драматическими способностями. Этот старичок был большой оригинал.

Он прожил почти все свое состояние на музыку, хотя сам музыки не знал вовсе. От скуки затеял он в деревне оркестр и, как русский человек, пристрастившийся к одной мысли, забыл все прочее; хозяйство его пошло вверх дном, но он о том и не заботился. Мужики играли на скрипке, конторщики писали ноты, бурмистр бил такт; мальчики с толстыми губами назначались для флейт и кларнетов, широкоплечие — для фаготов. Из Москвы выписывались и инструменты и капельмейстеры.

Старичок поминутно сзывал своих соседей и радовался, как ребенок, когда вдруг где-нибудь в беседке или в густой роще будто бы нежданно раздавалась увертюра из «Калифа Багдадского» или «Толедских слепцов»[3]. Мало-по-малу, настраивая доморожденных артистов, он расстроил до того имение, что принужден был обратить свой оркестр в доходную статью. Продать же его он не решался, хотя ему и предлагали хорошую цену; и потому ездил по городам, подряжал своих музыкантов на балы, на театры, и вырученными деньгами содержал и людей своих и себя.

Старичок чрезвычайно обрадовался Наташе. Он начал расспрашивать ее с видом живого участия о случившемся с ней после смерти графини. Наташа все простодушно ему рассказала, описала свое плачевное положение, свои отношения к чиновнице, свои неудачи с прежними друзьями и просила его о совете.

Старичок был в восхищении.

— Что же тут думать? — воскликнул он радостно. — Благодарите судьбу, которая приводит вас к настоящему вашему назначению. На днях приезжает сюда прекрасная драматическая труппа. Актеры такие воспитанные. Директор, Иван Кузьмич, мой короткий приятель, уж подрядился со мной для оркестра. Дешево, признаться, немного, ну, да я люблю искусство... Сам, так сказать, артист.

— Вы мне советуете сделаться актрисой... актрисой? — с ужасом спросила Наташа.

— Помилуйте, чего ж тут пугаться? Положим, вы найдете место няньки... Во-первых, вы будете от всех зависеть... как служанка... даже хуже служанки; во-вторых, какое вы будете жалованье получать? Вы, ведь, знаете провинцию... рублей триста — много. А тут вы сами барыня, получаете, что хотите — три, четыре тысячи, и можете еще наградить свою глупую чиновницу.

Мысль расплатиться с чиновницей польстила воображению Наташи, однако сердце ее сжалось.

— Я, право, не знаю, — сказала она, — я вдруг не могу, решиться... Надо подумать... Во мне нет таланта.

— Как нет таланта-с... помилуйте! у вас такие способности, каких я не видывал. Поверьте слову старого артиста... Помяните мое предсказание: быть вам Колосовой[4], Семеновой[5] — вот какой у вас талант! Истинный-с талант-с!

Через несколько дней старичок явился к Наташе с Иваном Кузьмичем. Иван Кузьмич чрезвычайно был похож на дворецкого. Белый кисейный галстух, огромная печать на гороховых панталонах, вздернутый нос, большой хохол придавали какую-то особую важность его красной и глупой физиономии. Говоря с Наташей, он старался быть обворожителен; говорил сладким голосом, щурил глаза и воображал себя самым светским человеком.

— Для вас, сударыня, — напевал он с разными ужимками, — разумеется, мало дворца: вы привыкли к ароматам, к жизни такой эфирной. Но судьба — женщина-с, своевольная, ветреная женщина. Я не смею бранить ее, потому что она дама, а я ревностный дамский поклонник; впрочем, она догадалась, что вам мало дворца; вашей красоте нужен храм, храм, так сказать, Мельпомены. Не бойтесь, сударыня, нас, мы будем вашими поклонниками, вашими рабами. Труппа моя, смею доложить, по тону и манерам едва ли не первая в России.

Я очень разборчив: у меня все почти благородные. Один молодой человек, Вельский, обучался прекрасно в гимназии; у него родной дядя надворный советник; другой служил чиновником — все люди не какие-нибудь, с чувством, с образованием. Мы живем душа в душу, как голуби. И я, уж должен признаться, сам такого деликатного свойства... всем готов пожертвовать для своих.

Правда, люди бранят меня за то, да душа спокойна, совесть чиста. Я хочу только, чтоб меня любили.

Наташу мало увлекали подобные речи, да что ж ей было делать? Она была молода и неопытна, не знала темной стороны закулисной жизни и в искусстве видела одно только искусство. Долго, однако ж, она боролась с тайным страхом, который не позволял ей решаться; еще раз обегала своих знакомых, еще много раз вытерпела грубые намеки чиновницы. Но пришел день, когда терпение ее рухнуло. Чиновница наговорила ей так много о безрассудности щегольских воспитаний для бедных девушек, которые потом никуда не годны, шаромыжничают и важничают, так горько сожалела о том, что лишается найма лучшей своей комнаты, что Наташа, с поспешностью отчаяния, написала Ивану Кузьмичу, что она согласна вступить в его труппу. Иван Кузьмич прибежал в полном восторге, рассыпался в нежностях, назначил Наташе 2000 рублей жалованья, исключая полного бенефиса, и подал ей условие, которое Наташа подписала, не прочитав. В тот же день переехала она на новую квартиру, несмотря на все упреки чиновницы, которая, почувствовав вдруг раскаяние, упрашивала ее остаться и кончила тем, что начала укорять ее в неблагодарности.

Но условие было подписано, и на третий день огромная афишка объявила жителям губернского города, что в непродолжительном времени вновь ангажированная актриса, г-жа

Федорова, будет иметь честь дебютировать в разных трагических и комических ролях.

Трудно изобразить негодование губернского города при этой вести. «Вот она, холопская кровь! — кричали добродетельные дамы. — Вместо, того, чтоб честным образом добывать хлеб свой, вот что она делает! Зачем не просила она нас? Мы бы все ей нашли место, хоть в память графини. Да что было ожидать от нее? Она всегда была бесстыдна, да боялась своей благодетельницы; а теперь ей полный простор». Мужчины смеялись.

Наташа учила свои роли, ходила на репетиции и ознакомилась с своими товарищами. В числе их было действительно двое из благородных: один, выгнанный из всех возможных служб, другой, выгнанный из гимназии за шалости и дурное поведение. Последний был молодой человек, увлеченный в детстве какой-то глупой самонадеянностью и молодечеством, не полагавшим никаких границ грубым, жалким привычкам. Детская мечтательность вовлекла его на комедиантское поприще, где он продолжал с товарищами разгульную и пьяную жизнь. Со всем тем на него находили иногда минуты грустного раскаяния; он презирал и свое тунеядство и свой отвратительный род жизни, и по целым дням ходил как убитый. Таких характеров много на Руси во всех сословиях; они происходят от доброй природы и порочного направления. Только в высших слоях общества оттенки сливаются как-то более между собой, тогда как в низших они выражаются жестче, определительнее, грубее. Вся труппа состояла из двадцати человек. Характеристику их не трудно сделать: комик Куличевский пил иногда; благородный отец Иванов пил постоянно; трагик Кондратьев пил запоем. Все пили более или менее. Один старик Петров был человек трезвый, но, может быть, оттого не было у него никакого дарования.

Этот Петров, исполнявший бессловесные или самые незначительные роли, получал самое вздорное жалованье и служил посмешищем для целой труппы. Гимназист и Куличевский всячески старались запутывать его в словах, сбивали поминутно с толку, делали ему из-за кулис разные гримасы. Его со всевозможной важностью уверяли, что он так обворожительно подает письма на сцене, что одно движение руки его исторгает слезы у самых равнодушных зрителей. Ему подсылали разные безыменные записочки, любовные объяснения. Его старались уверить, что жена губернаторского секретаря до того в него влюбилась, что хочет из-за него развестись с мужем. От этих шуток бедному Петрову приходилось иногда до слез. Женская половина труппы заключалась в двух или трех старых бабах, похожих на кухарок, в двух двенадцатилетних девочках и в трех манерных горничных, которые то и дело сплетничали, толковали о любовных интригах, о нарядах и о кухне. Главная из них была девица Иванова, которая, будучи недурна собой и в большой чести до прибытия Наташи, возненавидела ее с первого взгляда. Подобное общество не могло нравиться сироте. Она целый день оставалась одна в своей комнатке, исключая, разумеется, времени репетиций. Актеры и актрисы были очень недовольны ее холодным, но учтивым обращением. Один гимназист перестал пьянствовать, а Петров, удивленный незнакомой ему учтивостью, начал ревностно предлагать ей, где только мог, свои услуги. Это было поводом к новым насмешкам. Петрову советовали сделать Наташу своей наследницей и отказать ей, по завещанию, серебряную табакерку, составляющую единственное достояние бедного комедианта.

Наконец наступил день дебюта.

Театр, устроенный в городском цейхгаузе, был отделан заново: все ложи были выбелены, скамейки обтянуты новым коленкором. Иван Кузьмич хотел себя показать. Все городские жители, не исключая и не хотевших ехать на представление, толпились в ложах и партере; многие даже стояли, за неимением мест. Подняли занавес. Гимназист, одевшись, как мог только лучше, с помощью городских приятелей, играл старательно и хорошо; комик Куличевский, благодаря природному русскому юмору, немало смешил зрителей. Впрочем, все это было только предисловием. Вдруг по всей толпе пробежал трепет ожидания... все сердца разом забились... на сцену вошла Наташа, в простом, белом наряде, с своей плавной поступью, с своей благородной осанкой. Не с наглым видом, не крикливым горничным тоном,

к которому привыкла русская публика, начала она говорить, а тем сладкозвучным голосом, которым некогда восхищался весь город.

Спокойным, но грустным взором обвела она весь театр. В ложах сидели подруги ее вчерашней молодости.

В эту минуту вся зала затряслась от криков и рукоплесканий. Все мужчины до одного вскочили с своих мест и, внезапно одушевленные каким-то электрическим чувством жалости, повинувшись этому благородному энтузиазму, который овладевает иногда народными массами, разом хотели выразить сироте свое невольное участие.

Все лица оживились; все глаза засверкали. Шум все более и более усиливался. Пьеса была остановлена. Некоторые дамы были тронуты; некоторые барышни краснели и потупляли глаза. Старухи бормотали что-то себе под нос. Иван Кузьмич, окунув лицо в галстук, потирал руки. Актеры вытаращили глаза. Петров едва не прыгал от радости за кулисой. Наташа плакала.

Никогда ничего подобного не бывало в губернском городе.

Мало-помалу восторг утих и публика стала снова публикой, то есть невежественным, балованным ребенком, требующим каждый день новых игрушек. Впечатление о странном появлении Наташи на сцене, поразившее всех с первого раза, стало постепенно исчезать.

За первым представлением последовали другие представления, и губернский город совсем забыл о прежней роли бедной Наташи. Начали судить об ее драматических способностях. Явились недруги и критики, бывавшие в Петербурге. Образовались партии. Партии эти постепенно удалились от первоначального предмета спора и обратились к личностям, к сплетням, к настоящим размолвкам. Несколько домов решительно между собою перессорились, и в этом году столько было брани, столько толков разного рода, что зима прошла самым незаметным и самым приятным образом.

О Наташе никто уж не заботился. Она наряжалась, пела и смеялась; следовательно, ей хотелось наряжаться, петь и смеяться. Ей хорошо было, верно, жить. Театр всегда полнехонек; ее вызывают каждый раз — чего ж ей еще больше?

Наступила весна или, лучше сказать, время года, исправляющее у нас должность весны. Помещики начали дожидаться хорошей погоды, и после долгого, напрасного ожидания при первом солнечном луче рассыпались по деревьям. Губернатор уехал на ревизию. Театр был закрыт. Наташа надеялась отдохнуть от несносной для нее жизни; но Иван Кузьмич умел соблюдать свои выгоды.

В летнее время отправлялся он с своей труппой по разным ярмаркам, где учреждал на скорую руку временный театр в каком-нибудь сарае или манеже и давал по несколько представлений. Наташе велено было готовиться к отъезду... Она этого совсем не ожидала. Она никогда бы не решилась сделаться актрисой, если б знала, что должна будет шататься по балаганам и вступить в унижительное соперничество с разными фокусниками, гаерами и дикими зверями. Правда, она выступила на сцену, но она чувствовала себя между своими. Дитя, отверженное семейством, она все-таки еще видела кругом себя это семейство, так недавно раболепствовавшее еще перед нею, а теперь она должна кочевать по неизвестным ей местам, одна, посреди людей, которых она страшилась, которых речи и привычки были ей непонятны. Женская стыдливость в ней сильно заговорила и придала ей необычайную решимость. Она объявила Ивану Кузьмичу, что она не хочет, что она не поедет по ярмаркам. Иван Кузьмич хладнокровно отвечал, что на это есть полиция, и вынул из-за пазухи условие. В условии было сказано, что Наташа обязывалась на шесть лет играть, где только пожелает Иван Кузьмич, а в случае ее отказа должна внести 6000 рублей неустойки. Иван Кузьмич требовал или денег, или повиновения. Напрасно Наташа плакала и умоляла своего

властелина: она была вещью, принадлежностью Ивана Кузьмича, а Иван Кузьмич, забыв прежнюю свою деликатность, был неумолим.

Тогда вспомнила она о старичке, охотнике до музыки, вовлекшем ее в драматическое сословие, и обратилась к нему с просьбой о помощи. Старичок поспешно явился на зов, поцеловал нежно у нее ручку и выслушал ее жалобы. Подумав немного, он сказал, что все это безделица. Он решался продать своего кучера, отличного кларнетиста, и садовника, мастера играть на валторне.

Чтобы выручить ее из беды, и готов был внести за нее неустойку. В вознаграждение только за свое пожертвование он предложил одно такое страшное условие, что Наташа долго не могла его понять. Когда же она, бедная, поняла его, негодование, гнев, стыд загорелись ярким румянцем на ее бледных щеках. Она выгнала гнусного старика, и, позвав кухарку, составлявшую единственную ее прислугу, приказала не пускать его более к себе. Старичок насмешливо встал с места, приговаривая, что он видел такие сцены... да что конец им известен. На первый раз всегда надо погорячиться... а там будет и милость... Нужда не свой брат, и без него не обойдется. Но этих слов Наташа уж не слыхала: она убежала в свою комнатку, прихлопнув за собою дверь, и, упав на землю перед образом, долго и безутешно рыдала, уничтоженная новым, страшным открытием. Она вдруг догадалась, что, сделавшись актрисой, она не только отказалась от знакомства прежнего своего общества, но еще утратила его уважение, погубила свое доброе имя. Она вдруг постигла смысл восторженных похвал, двусмысленных речей, нежных взглядов, которые устремляли к ней ее театральные поклонники. Она почувствовала неодолимое омерзение к своим успехам, к одобрению публики. Она прокляла свою неопытность, осудившую ее быть вечной целью самых оскорбительных восторгов, самых гнусных домогательств. О, если б она могла отказаться от постыдного ремесла!.. Она скорее бы пошла просить милостыню под окнами, она скорее бы нанялась поденщицей и слабыми руками старалась бы снискивать пищу, от которой лицу ее не приходилось бы краснеть.

Мало-помалу мысли ее смешались. Ей показалось, что подле нее сидит графиня, с нечистой улыбкой на устах, и уговаривает ее не противиться желаниям старика... Потом все ее товарищи приближались поочередно лицом к лицу... и Иван Кузьмич, и гимназист, и даже старик Петров, и каждый нашептывал ей нестерпимо близко любовные объяснения из репертуара и, прикладывая пальцы к губам, просил не рассказывать о том никому. И ей казалось, что она их слушает и одобряет — и холодный пот обдавал все тело ее... и ее бросало в жар, и голова ее кружилась, и она жалобно стонала, призывая на помощь своих прежних подруг и знакомых.

Восемь дней пролежала Наташа в сильном бреде, в самой ужасной горячке; восемь дней жизнь боролась со смертью, но молодость превозмогла. Лекарь 3-й степени, названный доктором с тех пор, как получил чин коллежского асессора[6], был призван испуганной кухаркой к постели больной. Этот лекарь занимался преимущественно хозяйством и снимал городские сенокосы; в книги же не заглядывал, а лечил наудачу и не хуже своих ученых собратий истреблял иногда болезнь, иногда пациента. Сложение Наташи было еще так крепко, что она устояла против медицинских средств. Из городских жителей никто не присылал справиться о ее здоровье. Один Петров хлопотал неумолимо с кухаркой: варил суп, бегал в аптеку, торопил аптекаря, топил печи, расспрашивал доктора о Наташе, как о собственном ребенке.

Гимназист ходил под окнами больной и грустно посматривал на завешанные ее окна. Прежнее его разгулье исчезло... Он был угрюм и молчалив.

Иван Кузьмич был тоже очень расстроен. Он мысленно рассчитывал, сколько несет убытка от болезни своей первой артистки и сколько должен будет вычесть у ней из жалованья. Выздоровление Наташи шло чрезвычайно медленно. Отлетавшая жизнь нехотя

возвращалась к ней, как бы понимая, что она ей в тягость. Когда же Наташе стало лучше, выздоравливающая с таким чувством начала благодарить Петрова за его участие, так искренне радовалась, что есть человек, не чуждавшийся ее, что Петров чуть-чуть не помешался от радости, и с того дня полюбил сироту, как родную дочь.

Иван Кузьмич каждый день посещал больную и, постигнув наконец ее раздражительность и благородный характер, изменил свое обращение. Он начал жаловаться на большие издержки, сопряженные с содержанием труппы, нынче ничем не вознаграждаемые; говорил, что должен распустить труппу; сам сделается нищим и людей своих пустит по миру. Одна Наташа могла бы спасти их всех от нищеты, согласившись отправиться на теменевскую ярмарку, где играть будет не в балагане каком-нибудь, а в прекрасном театре, перед самой образованной публикой. Наташа была уже не в силах противиться: она сказала, что поедет, куда хотят, что ей все равно.

Лицо Ивана Кузьмича засияло радостью. Начали приготовляться к отъезду.

Дней десять сряду штопали рыцарские доспехи, испанские мантии и прочий театральный хлам; чинили и подкрашивали декорации, вырезывали картонные вещи и заготовляли парики. Когда все было готово, торжественный поезд отправился шагом к месту своего назначения.

Дорога была песчаная. Солнце пылало; воздух был удушлив. Наташа, изнуренная болезнью, лежала в кибитке, обтянутой рогожей, посреди двух старух в душегрейках. Лошадьми правил Петров. Перед кибиткой тянулись две фуры, навьюченные вещами и людьми.

Женщины щелкали орехи. Мужчины, в одних рубашках, заложив руки за затылок, спали, растянувшись, кто как мог. Так прошел целый день. Наташа старалась ни о чем не думать. К вечеру они остановились в большом селе у постоялого двора. Стало свежеть. Лошадей отпрягли.

Путники проснулись, зашевелились, перекликнулись.

Из-под сена выглянули пироги, испеченные на дорогу, и четвероугольные штофы с настойкой. Около приезжих толпились сбежавшиеся ребятишки. Хозяин постоялого двора кланялся и суетился; хозяйка ставила самовар.

Мало-помалу пироги стали исчезать и штофы опорожняться. Начались странные шутки, странные песни. Наташе послышались совершенно неизвестные слова. Иван Кузьмич отправился вперед для нужных в Теменеве распоряжений и предоставлял в походное время своей труппе полную свободу. Грубые шутки становились час от часу крупнее. Лица раскраснелись... Начались ссоры...

За ссорами последовали ругательства, а за ругательствами пошла драка. Женщины притакивали и смеялись.

Актеры, шатаясь и падая, поминутно вцеплялись друг другу в волосы и кричали страшными голосами. Наташа с ужасом смотрела на это зрелище. Ругательства и крики сменялись новыми криками и ругательствами; за драками начинались опять новые драки.

Всех пьянее был комик Куличевский. Кое-как, переваливаясь, доплелся он до кибитки...

— Что ж ты, барыня, что ли, в самом деле, — завопил он, глядя на Наташу, — а?.. лучше нас, что ли? а? царевна недотрога? а?.. Со мной прошу не чваниться... я ведь... знаешь... Эх-ма!.. по-своему.

— Не трогайте их, Сидор Терентьич, — прервала девица Иванова, — они ведь субтильные такие... Где. им с нами знаться... они ведь высокого происхождения: батюшка ихний за

каретой стоял, служил, слышно, лакеем.

Громкий хохот раздался за этой остротой.

— Важная птица! — заревел Куличевский, — нос вздумала, поганая, подымать... зазнаваться... Постой-ка, я тебе дурь-то выбью из головы. Знаешь ли, по-своему, по-русски... Постой-ка... я тебя...

Куличевский потянулся к кибитке...

Наташа с ужасом отскочила в сторону.

— Молчи, пьяница! — закричал гимназист, подбежав к кибитке.

— Молчать... не хочу молчать.

— Молчи! говорят.

— Не хочу — вот тебе и все.

— Молчи! а не то заставлю.

— Посмотрел бы, как заставишь.

— Да увидишь, если хочешь...

— А вот, не хочешь ли сам ты этого...

И Куличевский размахнулся, но крепкий кулак гимназиста предупредил его.

Куличевский лежал уж, растянувшись на земле, а гимназист, с сверкавшими глазами, страшный, как олицетворенный гнев, давил его грудь коленом и руками душил за горло.

— Проси прощенья! — кричал гимназист, дрожа от бешенства.

— Не буду, — мычал Куличевский.

— Проси прощенья!.. Не то, видит бог... убью, как собаку...

И дрожащие руки стиснули посиневшую шею пьяного актера.

— Ви...но...ват, — прохрипел Куличевский...

— Ай-да гимназист! молодец! — раздалось в толпе.

— Эй, ребята! покачаем-ка его...

Но гимназист уж исчез. Одуревшего Куличевского вытолкали в калитку. Петров перекрестился.

Наконец вечернее разгулье стало постепенно утихать. Кое-где еще раздавались стоны и жалобы побежденных и наглые шутки победителей. Языки отяжелели, глаза отуманились. Актеры разбрелись в равные стороны и завалились спать; женщины ушли в избу.

В селении водворилась тишина. Наташа осталась одна в кибитке, из которой не смела выйти. Петров, помолившись богу, подложил себе под голову тулуп, растянулся на земле под кибиткой и, немного помаявшись, заснул среди общего безмолвия. Ночь была прекрасная. Крестьянские избы тянулись зубчатой тенью по обеим сторонам дороги, а над ними возвышалась церковная колокольня указательным перстом к небу. Миллионы ярких звездочек

ярко сверкали на темно-синей небесной выси Свежий ветерок тихо качал ближние рябиновые листья, а вддали раздавался мерный стук сельских сторожей..

Наташа не могла сомкнуть глаз. Свежее впечатление летней ночи как-то сливалось в душе ее с ее неизменной грустью... И не была ли жизнь ее и мрачна и чиста, как это синее небо, и не сверкали ли в ней светлыми звездочками счастливые минуты ее детства! И кто знает, что ей готовится впереди? Проблеснет ли когда-нибудь луч счастья в ее потемневшей жизни? Какие обиды, какие огорчения ожидают еще ее измученную душу?.. Долг ли, мало ли ей еще дожидаться?.. И что ж будет там?..

И чем все это кончится?..

— Наталья Павловна... Наталья Павловна... — прошептал подле кибитки чей-то трепетный голос.

Наташа обернулась. Перед ней стоял гимназист, бледный, измученный. Видно было, что он хотел что-то высказать и не смел.

Прошло несколько минут молчания.

— Я не успела поблагодарить вас, — тихо начала Наташа, — давеча вы спасли меня.

Гимназист печально покачал головой.

— Что в этом, — сказал он, — что в этом-с! Завтра опять, может-с быть, то же самое-с. Вы видите-с, в каком вы обществе-с.

— Видно, судьба уж моя такова, — вымолвила Наташа.

— Да вы не знаете-с этих людей... Они на все способны-с.

Голос гимназиста дрожал.

Оба замолчали.

— Не все же так жить... — снова начала Наташа, — кто знает, что впереди?

— Конечно-с... Не все же так жить?.. Да как это сделать-с? Позвольте, Наталья Павловна... спросить вас... только вы не прогневайтесь... право-с, это для вашей пользы...

Наташа взглянула на него с любопытством.

— Позвольте-с спросить вас... Простите-с, нескромный вопрос... прилично ли молодой девушке, с вашим воспитанием, в ваших летах, находиться без матери, без совета, без защиты... с такими людьми, как мы...

— О нет, нет!.. — воскликнула, краснея, Наташа.

— Я тоже так думал-с... Право... Да как тут быть! Условие ваше написано так неосторожно: нельзя отказаться. Разве убежать... да нет, нельзя-с... Полиция вмешается... Большие выйдут-с неприятности. Поверите ли... заснуть не могу... Думаю, думаю, ничего не придумаю.

— Зачем не спросилась я вас прежде! — грустно сказала Наташа.

— Напрасно-с! Я бы вам по чести сказал всю правду. Ну, да уж этого не переделаешь. Тут и говорить нечего-с... Впрочем... если уж так... то есть, кажется... одно средство-с...

— Скажите, ради бога, скажите.

Гимназист молчал. В душе его происходила ужасная борьба. Наконец он собрался с силами:

— Выйти... вам... замуж... — сказал он едва внятно.

Наташа не отвечала ничего. Петров храпел под кибиткой. Рябины тихо качались... На небе весело сверкали звездочки. Ночь была прекрасная. Гимназист, помолчав несколько времени, начал говорить шепотом:

— Конечно-с... с вашим образованием вы не можете найти здесь достойного человека. Смешно даже подумать. Вы видите, что здесь за народ. Впрочем, может быть тоже, что вы не свободны... У вас, я слышал, было столько женихов... Вы, верно, любили, любите кого-нибудь...

— Нет, — простодушно отвечала Наташа.

Лицо гимназиста прояснилось, голос стал сильнее.

— Так зачем бы вам, кажется, не осчастливить человека, правда-с, грубого, необразованного, вспыльчивого... ну, да он перемениться может... Он уж переменился с тех пор, как вас знает... Впрочем, вы не думайте о нем. Главное дело... позвольте ему только называться вашим мужем, вашим защитником... тогда никто вам слова дурного не скажет, скорей мне череп разmozжат; а теперь, пожалуй, еще шутить, смеяться начнут... Со всеми ведь не сладишь...

— Я вас недостойна, — тихо вымолвила Наташа.

Слезы выступили на глазах гимназиста.

— Вы меня недостойны?.. Вы, Наталья Павловна? Да знаете ли вы, кто я... я ничему не учился, ничего не знаю... я выгнан из училища за дурное поведение.

Я убил, может быть, отца и мать; оба они скончались — царствие им небесное, — не выдавшись со мной, и не простили меня... Я до сего времени вел жизнь самую буйную, в трактирах, в харчевнях, с такими людьми, о которых стыдно вспомнить... я был вот как этот Куличевский, который недавно здесь валялся — и вы говорите, Наталья Павловна, вы, чья душа прямо с неба, что вы меня недостойны!

— Вы меня так любите... — с трудом выговорила Наташа, — а... я...

— А вы меня не любите, помилуйте, да иначе и быть не может... Вам бы грешно было меня любить. Дайте мне только заслужить свое счастье. Сжальтесь надо мною, Наталья Павловна. Я, право, недурной человек... я способен и на дурное и на хорошее. Протяните мне руку — и я исправлюсь. Спасите меня, Наталья Павловна, спасите меня! Очистите душу мою от грязи, к которой она привыкла. Я знаю, я чувствую, до какой степени я вас недостойн, но я чувствую тоже, что любовь может преобразовать человека. Наталья Павловна, избавьте меня от меня самого. Я буду благословлять вас в каждую минуту жизни. Не откажитесь от доброго дела: вы навеки можете спасти человека.

Наташа тихо приподнялась со своего места и протянула гимназисту руку.

Голос ее дрожал, но лицо было спокойно.

— Да будет воля божия! — сказала она.

— Петров! Петров! — закричал гимназист в полном исступлении радости. — Петров! она моя

невеста!

Душу молодого человека обдало вдруг таким чувством неопisanного блаженства, что он бы умер на месте, если б не мог высказать своей радости.

Петров вскочил на ноги, протирая глаза!

— А?.. Что? Что такое?

— Петров, обними меня. Она моя невеста.

— Полно, брат... где тебе?..

— Наталья Павловна... да, скажите ему...

Наташа кивнула головой.

— Как, в самом деле?.. Ну, нечего делать, благослови вас господь... Только ты уж, смотри, брат, пустяками-то полно заниматься. Трактиры свои забудь — слышишь ли?..

— Э, брат Петров, — весело отвечал гимназист, — о каких пустяках еще думать. Посмотри-ка на нее.

На дворе уж занималась заря.

Утром вся труппа узнала о внезапной помолвке.

Женщины начали улыбаться и перешептываться. Девушка Иванова пожелтела от досады и зависти: она сама метила на гимназиста и поклялась отомстить своей вечной сопернице. Мужчины повесили нос. Холостые вспомнили, что Наташа хороша, воспитанна, получает лучшее жалованье, — и опечалились. Женатые мысленно сравнивали Наташу со своими бранчливыми супругами — и тоже опечалились.

— Экое собаке этой, гимназисту, счастье, — ворчали они, — кажется, ничем нас не лучше.

Путешествие вследствие сего совершалось довольно мирно, и бурный разгул походной жизни прекратился.

Подле Наташи, в кибитке, сидел уже гимназист, и душа его, способная на все крайности, утопала в восторге и изливалась в простых, но выразительных словах. Он горько каялся в прежних своих заблуждениях; он жадно ловил каждое слово своей невесты, и, как мать с своим первым младенцем, он трепетно следил за каждым ее движением. Он сам стал настоящим ребенком, послушным, покорным, готовым любить каждого. Он был так счастлив!

Какая женщина устоит против голоса истинной, неподдельной страсти? Наташа, побужденная сожалением согласиться на страстную мольбу гимназиста, не каялась в своей решимости. Она постигала, сколько хорошего было в этом человеке, погрязшем в омуте порочной жизни и порочных привычек. Она возмечтала возвысить его до себя, излечить его душу от ран долгого разврата.

Она облагораживала его страдания. Она не любила еще, но уж хотела любить, воображала уже, что любит.

Так приехали они в Теменев.

Читатель помнит теменевскую ярмарку, где некогда процветала труппа Шрейна и Поченовского, где впервые выступил на сцену тот молодой человек, которым впоследствии любовалась вся Россия, который и поныне честь и слава русского театра. С того времени в

Теменеве мало произошло перемен. Шрейн и Поченовский покончили свое существование. Городничий был переведен, за отличные способности к службе, на какое-то важное место. Мучной сарай не чинился, не поправлялся и поныне стоит в том же виде, как прежде, и приглашает странствующих актеров. В нем-то и расположился Иван Кузьмич. По собранным им сведениям, ярмарка в том году была по обыкновению многолюдна; помещики съезжались со всех сторон; ремонтеров нагрянула целая толпа. Из важных особ пожаловали: сам губернатор, два генерала и один тайный советник с двумя звездами.

Еще до прибытия своей труппы Иван Кузьмич успел разослать по всем домам и по всем лавкам прекрасноречивую афишку. В этой афишке высокое дворянство, офицерство, купечество и вообще знаменитая в целой Европе по образованию своему теменевская публика извещалась о скором открытии театра, на котором разыгрываемы будут все пьесы, игранные с успехом в Петербурге и Москве. Содержатель труппы, не щадя никаких издержек для угождения своих высоких доброжелателей, обратил особое внимание на удобное помещение зрителей, на декорации и костюмы. Кроме того, труппа обогатилась разными новыми лицами, в числе которых знаменитая г-жа Федорова, имевшая честь дебютировать в губернском городе, успела уже заслужить лестное одобрение истинных ценителей искусства. Цена местам оставалась та же, как и в прежних годах, потому что Иван Кузьмич действовал не из видов корыстолюбия, а единственно из глубокого уважения и преданности к просвещенным посетителям всему миру известной ярмарки.

Через несколько дней новые афишки объявили открытие театра, и Наташа предстала перед теменевской публикой.

Оживленная новым чувством, помолодев новою молодостью, она вдруг забыла, что было прискорбного в ее положении, и перестала гнушаться своим званием.

Прежняя веселая улыбка заиграла на ее чертах; опять ей стало легко на душе, не так детски, как прежде, а с оттенком сладкой задумчивости, как следует женщине любящей и любимой. От этого игра ее стала развязнее, веселее, свободнее. Наташа уж ниже обижалась восторгами публики, потому что находила в любви преданного ей человека вознаграждение за все обиды, а славу свою приносила ему в жертву. Румянец снова показался на ее щеках. Она вся как бы перерождалась и сияла новой жизнью. В черном бархатном корсете, в белом маленьком переднике, она дебютировала в роли какой-то театральной крестьянки, и так мало думала о публике, так молодо смеялась, так непринужденно была сама собою, что публика изумилась ее кокетству. Надо знать, что большая часть офицеров и помещиков съезжаются на ярмарки с тем, чтоб погулять, повеселиться, словом, покутить по-своему. При виде прелестной актрисы ремонтерские сердца воспылали, помещики закрутили усы, даже некоторые купчики расчувствовались. По окончании театра все музыканты из оркестра угацивались в разных углах города влюбчивыми Дон-Жуанами, которые расспрашивали притом, как бы познакомиться с девицей Федоровой. Музыканты выпили в этот вечер страшное количество пуншу, но объявили, что познакомиться с Наташей нелегко, потому что она в связи с одним актером, который обещал на ней жениться.

Весело возвращалась домой из театра Наташа, опираясь на руку своего жениха. Она уж начала шутить и смеяться, но детский смех вдруг замер на устах ее. Гимназист шел молча, судорожно сжимая ее руку. На вопрос ее, что с ним случилось, не болен ли он, он отвечал отрывисто, почти грубо, что ничего... что он здоров. — Сердце Наташи дрогнуло. Отчего это он вдруг так переменился? Заботливо, нежно глядела она ему в глаза, но он отворотился. Он стыдился признаться, что девица Иванова шепнула ему как бы невзначай несколько ядовитых намеков о доверчивости мужчин, о лукавстве женщин, о красоте Наташи и о восхищении зрителей. Ревность запала в душу молодого человека; и так как он не привык обуздывать своих страстей, то он разом испытал все ее мучения. Он чувствовал свою безрассудность и не мог ее превозмочь. Он хотел бы унести Наташу — свое бесценное сокровище, и спрятать ее от всех глаз. Он отдавал себе справедливость; он знал, что многие

найдутся достойнее его и что его нетрудно заменить. Не сказала ли ему Наташа, что она его не любит: зачем же не полюбить ей другого? Но теперь он никому бы не уступил своего права, и от одной мысли о том он приходил в бешенство. Он ревновал к каждому офицеру, к каждому зрителю, к целой публике. Он понимал свое ничтожество, но не понял он высокой души Наташи, в которой каждое чувство вкоренялось только тогда, когда становилось обязанностью, для которой обещание было сердечной святыней. Гимназист мог любить пламенно, страстно, бешено, но понять Наташи не мог. Грустно, холодно расстались они: она — полная тайного страха и тайного предчувствия, он — с порочными мыслями в душе, с тяжким раскаянием на сердце. Ни он, ни она не могли заснуть целую ночь. На другой день, когда гимназист явился к своей невесте, он застал ее бледною, расстроенною, с записками в руках. В этих записках, написанных высокопарным слогом, предлагались ей сердца, пронзенные стрелами амура; в некоторых предлагались ей даже просто деньги. При виде подобной переписки ярость гимназиста дошла до безумия. Как раненый зверь, бросился он на любовные письма, изорвал их в мелкие куски, поклялся убить писавших их, сжечь театр и город и зарезать Наташу, если она вздумает ему изменить.

С слезами на глазах, сложив руки, умаливала его Наташа умерить гнев свой, отвечать одним презрением презрительным людям, сжалиться над нею. Долго уговаривала она его, долго убеждала своим трогательным голосом. Мало-помалу гимназист успокоился, устыдился своих слов и перешел в другую крайность. Он начал проклинать свое бешенство и самого себя; умолял Наташу бросить его, забыть его; плакал, хотел целовать ее ноги и готов был застрелиться от отчаяния. Тогда Наташе пришлось утешать его, упрашивать не огорчать ее своим малодушием. Вместе отправились они на репетицию. При каждой встрече ревность снова начинала душить гимназиста, и снова стыдился он своей ревности.

И каждый день повторялись подобные сцены, и каждый день гимназист горько оплакивал обидные слова подозрения, высказанные им в минуту безрассудного порыва.

Между ремонтерами, прибывшими на теменевскую ярмарку, находился один армейский корнет, употреблявший всю жизнь на то, чтоб заслужить завидную известность лихого, отчаянного гусара. Тип отчаянного гусара в эпоху нашего рассказа, лет за двадцать назад, вероятно, памятен читателю. Отчаянный гусар должен был выпивать страшное количество вина и рому, должен был иметь баснословные неоплатные долги, гарцевать на сердитой лошади, сидеть часто под арестом, быть счастливым в любви и проводить время за картами и бутылками в обществе дам неопределенного сословия. С того времени тип этот начал изменяться. Люди поняли, что много пить значит не молодечество, а пьянство; жить чужими деньгами не молодечество, а плутовство; заниматься вечно разгульем тоже не молодечество, а распутство, губящее навеки и здоровье, и доброе имя.

Теменевский отчаянный гусар был вздорный парень, ослепленный блеском своего мундира, обрадованный, что мог вырваться на волю из-под матушкина крыла и мучимый безграничным самолюбием. Так как он не имел никакого образования и чувствовал себя совершенно неспособным к чему-нибудь дельному, то он погрузился в молодечество, хвастал своими пороками и всячески старался удивлять своим ухарским образом жизни.

Увидев Наташу, услышав, что все его товарищи встретили сильный отпор в своих любовных атаках, он решился перещеголять всех, одержать победу над непреклонной и тем увековечить навсегда свое имя в летописях ремонтерства и теменевской ярмарки. Самолюбие его разгорелось. В скором времени он был уже приятелем Ивана Кузьмича и всех актеров. Иван Кузьмич, желая привлечь в свой театр гг. офицеров, был мил, разговорчив и даже, забывая иногда важность, свойственную его сану, иногда выпивал с гусаром лишнюю рюмку, упрашивая его, впрочем, не спаивать актеров его. Гусар каждый вечер ходил за кулисы, начинал с Наташей любезничать, но, встречая ее холодный взор, робел, как школьник. Обдуманная объяснения замирали под гусарскими усами, и дела нисколько не подвигались, хотя он и принял уже перед товарищами скромно-озабоченный вид человека,

вполне счастливого. Отчаиваясь в настоящем успехе, он обратился к хитрости и старался достигнуть наружности успеха. Девушка Иванова, украшенная, по его милости, золотыми сережками, купленными на ярмарке, начала распускать насчет Наташи самые гнусные слухи и доставляла гусару все средства встречать ее повсюду, куда бы она ни выходила. Актеры начали скоро потчевать гимназиста самыми площадными шутками. Офицеры с завистью поздравляли своего счастливого товарища, который на их поздравления отвечал только лукавой улыбкой. Гимназист был бледен, худел с каждым днем; в движениях его было что-то лихорадочное. Наташа молча сносила новое бедствие: она почитала унижительным оправдываться.

В то время ремонтеры затеяли большой холостой обед в зале временного клуба. Эконом, на которого было возложено устройство пиршества, исполнил свое дело как нельзя лучше, тем более, что о цене не торговались. Ремонтеры тем известны, что не гонятся за лишней копейкой. Обед был на славу, стол украшен цветами. Рыбу подали величины баснословной; фрикасе так и горело пряностями. Видно было, что ничего не жалели. Собеседники, числом до двадцати человек, ели, пили и были чрезвычайно оживлены. Главный предмет разговора заключался, разумеется, в лошадях. Говорили с большим жаром о каурых и вороных, саврасых и буланых, половых и соловых, с отметинами и без отметин; спорили, горячились. Шампанское буквально, лилось рекой и не в одни ремонтерские утробы, но и по скатерти и по полу. Опорожненные бутылки бросались весьма ловко в угол комнаты, где бились с приятным звоном и в скором времени образовали порядочную пирамиду.

Раскрасневшийся гусар бился об заклад, что одним залпом выпьет целую бутылку шампанского, что, впрочем, исполнил весьма неудачно, облившись весь вином. Другие последовали его примеру с большим успехом. Шум сделался ужасный. Все говорили вместе, не слушая друг друга. Эконом, призванный для получения благодарности, тут же был употчеван до совершенного упоения.

Картина сделалась самая живописная. Посреди густого табачного дыма толпились в разных позициях раскрасневшиеся усачи в разноцветных шелковых рубашках, с чубуками в руках. На столе не было уже ни цветов, ни тарелок, а красовалось что-то вроде географической карты. Улыбавшийся слуга в оборванном сюртуке стоял у дверей с подносом и откупоренной бутылкой, которую он прикрывал пальцем.

— Знаете, господа, — закричал кирасир, ростом в три аршина, — богатая мысль! Теперь бы послать за цыганами. А что, в самом деле: они попоют, а мы послушаем — ну и хорошо, кажется.

Несколько офицеров рассмеялись.

— Ну, брат, тяжелая кавалерия, спешил брат, спасовал... — заметил с хохотом отчаянный гусар. — Так пьян, что и завираться начал.

— А что!

— Как что? Цыгане-то в нынешнем году не приезжали. В Москве, слышно, остались.

— Ба, ба! в самом деле, — заревел кирасир и ударил стаканом по столу; стакан разлетелся вдребезги, а вино разлилось новым океаном.

— Нет, вот что, — подхватил майор с темно-малиновым лицом и светло-серыми усами, — пускай гусар пошлет за своей Наташей.

Отчаянный гусар немного смутился.

— Не пойдет, — сказал он, краснея.

— Не пойдет? Как не пойдет? Посмотрел бы я в старые годы, как не пошла бы моя Матрена Ивановна... посмотрел бы я...

— Она ведь такая застенчивая, — робко вымолвил гусар.

— Вот еще на вздор этот смотреть! У меня, брат, по-военному: рысью, марш! Вся недолга... Да ты, кажется, молодец на словах только, а на деле... мое почтение!

— Позвольте, майор, вы, кажется...

— Не горячись, душа моя, нездорово. Нам с тобою ведь не знакомиться, да и меня господа знают. Сердись, не сердись, а я так думаю, что Наташа тебя просто дурачит.

— Неправда! — воскликнул вспыльчиво гусар.

— Вот с чем подъехал... сказал «неправда»... Так тебе все и поверили. Нет, ты, братец, докажи.

— Да, докажи, докажи!.. — кричали багровые собеседники. — Аи да майор!.. молодец! срезал гусара!

Поднялся шум, свист, хохот.

Гусар, разгоряченный вином, самолюбием и досадой, решился на самый отчаянный подвиг.

— Извольте! — крикнул он, — докажу...

— Bravo, bravo! — раздалось со всех сторон. — Молодец гусар, срезал майора...

— Позвольте, — сказал майор, — надо знать еще, как он докажет.

— Как?

— Да, каким образом?

— Да вот как... при вас всех поцелую Наташу.

— Оно бы... гм... братец... да ты и того не сделаешь.

— Как, не сделаю.

— Да так, не сделаешь. — Нет, сделаю.

— Пари...

— Изволь.

— Дюжину шампанского.

— Две дюжины.

— Хорошо...

— Господа! Вы свидетели.

— Свидетели, свидетели! — подхватило несколько голосов. — Вот умное пари: по крайней мере, всем достанется...

— Да когда же это будет? — спросил кто-то.

— Да сейчас, если хотите, — промычал опьяневший гусар, — сейчас... сами увидите... хвастал ли я... Наташа теперь в театре... Увидите, ступайте за мной, — В театр, в театр! — закричали все в один голос.

— А там, господа, прошу снова сюда пожаловать, на выигранное вино... мне что-то пить хочется... Знай наших! Уж пошел кутить, так не оглядывайся...

— Ну, на нынешний день, кажется, довольно... Завтра не ушло, — заметил основательно майор, — а любопытно мне видеть, как ты выиграешь.

Стулья с шумом полетели на пол.

Каждый отыскал, как мог, сюртук свой и фуражку.

Слуги бросились к столу допивать оставленное вино, а буйная ватага хлынула лавиной к театру. Гусар шел впереди с фуражкой на затылке, с выпученными глазами, красный, как рак, махая руками, но не совсем с спокойным сердцем. Два товарища вели его почтительно под руки. Входя в театр, они подняли такой шум, что едва не остановили пьесы. Наконец они уселись. Двое из разгульной толпы тут же заснули на креслах, прочие начали шутить вслух, аплодировать, вызывать и шуметь таким образом, что театр действительно чуть-чуть не рушился.

Грустно было в этот вечер Наташе. Скрепя сердце, нехотя исполняла она какую-то вялую роль нашего домашнего произведения. Она чувствовала, что она слишком скоро предалась минутному обману; что нежное ее сердце никогда не очерствеет от грубого прикосновения не понимающих ее людей. С ней играл гимназист, истерзанный раскаянием и сомнением, убитый сознанием, что она низошла до него по ступеням злополучия и что он не сумел сохранить своего благоговения перед святыней ее несчастья. Они говорили друг другу перед публикой какие-то пошлые слова, в которых не было ни чувства, ни смысла, ни истины, а в душах их разыгрывалась настоящая страшная драма страстей и печалей человеческих.

Когда первое действие кончилось, гимназист вышел подышать на площадку, на которой находился театральный сарай. На лестнице встретил он разгульную ватагу ремонтеров, идущих, по обыкновению, любезничать во время антракта за кулисами. Гимназист побледнел и нахмурил брови. Девушка Иванова стояла подле него с коварной улыбкой.

— Какие хорошенькие Наталья Павловна, — сказала она, — просто, прелесть!.. за то уж надо сказать... всем ндравится.

Гимназист не отвечал.

— Уж надо сказать... — продолжала девушка, — какие эти кавалеры странные: на все готовы, только чтоб на своем поставить. Настенька говорила давеча, что гусарский офицер обещается жениться на Наталье Павловне... Уж такой модник, право!

Гимназист поспешно обернулся и так взглянул на актрису, что она отступила на шаг, однако ж продолжала говорить:

— Вот и будет вам за то, что зазнались, старых приятелей забыли... И поделом вам... право... слышите шум... право, шумят... Уж не сговор ли справляют.

На сцене действительно слышен был страшный шум.

Гимназист бросился к театру, мигом вскочил на лестницу, отворил дверь — и остановился, как бы пораженный громом. Лицо его страшно исказилось, глаза налились кровью, волосы стали дыбом, бледность смерти покрыла его черты, на устах показалась пена, и все члены его затряслись, как бы в лихорадке. Гусар держал Наташу в своих объятиях, посреди толпы

ремонтеров, которые смеялись и аплодировали. Кровавое зарево отуманило глаза гимназиста. Он не двигался... Веселая шайка прошла, смеясь, мимо него. Он не остановил ее. Но когда Наташа, трепетная, едва дышащая, почти без чувств дотаскилась до него, он отскочил от нее, как от змеи, и вся грубая сторона души его вдруг разразилась страшными проклятиями, ругательствами и сквернословиями.

И вдруг, забывшись совершенно, он ринулся на несчастную свою жертву, ударил ее в лицо, только что опозоренное нечистым поцелуем, и с неистовыми упреками в измене и распутстве поверг ее на землю. В эту минуту кинулись на него с двух сторон Петров и Иван Кузьмич: Петров — из любви к Наташе, Иван Кузьмич — из опасения, что публика услышит сцену, не объявленную в афишке... Вдвоем вытолкали они безумного вон из театра. Как только пахло свежим воздухом, гимназист остановился... схватил голову обеими руками и, как бы вдруг опомнившись, закричал диким, почти нечеловеческим голосом и пустился бежать, не оглядываясь. Куда убежал он — неизвестно, но никогда ни в Теменеве, ни в губернском городе его никто уж более не видал.

Между тем публика ожидала второго действия и начинала уж оказывать нетерпение. Наташа лежала в обмороке. Иван Кузьмич как человек опытный нимало не смутился; он велел прибрать сперва Наташу в сторону, потом приказал поднять занавес и сам явился на сцену.

Поклонившись с приятною улыбкой на три стороны, он объявил высокопочтенным посетителям, что, по внезапной болезни г-жи Федоровой, 2-е действие назначенной в афишке пьесы играно быть не может, а заменится национальным водевилем «Филатка и Мирошка»[7]. Болезнь г-жи Федоровой не помешает, впрочем, назначенному на другой день собственному бенефису Ивана Кузьмича, который сам лично явится в роли Гамлета, принца датского, и надеется заслужить одобрение своих высоких доброжелателей. Сказав это, Иван Кузьмич снова поклонился три раза и исчез в кулисе. Публика осталась довольна. Ремонтеры ушли спать, и потому в театре шуметь было некому. После бесконечного антракта Филатка и Мирошка начали тешить русскую публику своими остротами, и спектакль окончился благополучно.

Публика и актеры разошлись по домам. Свечки и лампы погасли. В театре было совершенно темно, когда Наташа очнулась.

— Кто здесь?.. — спросила она слабым голосом.

— Я... — отвечал Петров.

— Отчего здесь темно?.. что здесь было?.. Где мы? — спросила она снова.

— Ничего-с, Наталья Павловна... ничего-с. Все благополучно. Вы упали неосторожно... так вам дурно сделалось... Да это ничего-с... Пройдет... я вас провожу домой. Напейтесь-ка чего-нибудь тепленького на ночь... Отдохните хорошенько.

— Пойдите! пойдите!.. кого здесь целуют?..

— Перестаньте, Наталья Павловна... думать об этом вздоре... Не стоит беспокойства... Пойдемте-ка домой.

— Пойдите!.. отчего же они смеются?.. Отчего же их так много?.. Слава богу!.. вот он пришел... он заступился... Он меня спас... Он мне сказал...

Наташа залилась горькими слезами.

— Эх, Наталья Павловна, — говорил встревоженный Петров, — право, нехорошо... Этак вы в самом деле захвораете. Вот и театр запирают... Пойдемте... Я сбегая в аптеку за бузиной

или за ромашкой... К утру опять будете здоровы.

С трудом дотащил Петров бедную Наташу до чердака, где она нанимала квартиру. Наташа поминутно останавливалась дорогой, то, притворяясь твердою, вдруг спрашивала о графине: была ли она в театре, была ли она довольна пьесой, то вдруг начинала рыдать безутешно, изнывая под бременем бедствия и позора. Наконец дотащились они по крутой лестнице до Наташиной комнаты. Петров кликнул хозяйку, поручил ей раздеть и уложить больную, а сам побежал в аптеку, на последние свои деньги купил бузины и ромашки, сам сварил их в кухне и отослал горячие чайники с хозяйкой в комнату бедной страдальницы, куда не смел войти.

Только утром Наташа начала засыпать... В это время кто-то постучал в дверях.

— Кто там?.. — спросила она, просыпаясь и содрогнувшись от испуга.

— Это я-с... Иван Кузьмич.

— Не входите... я в постели.

— И, помилуйте... что за церемонии! Мы люди свои.

Иван Кузьмич вошел. В руках держал он узелок.

Лицо его было важно по обыкновению.

— Я пришел, — сказал он, — напомнить вам, что мы нынче вечером играем Гамлета...

— Как, опять? — простонала Наташа...

— Что это вы... помилуйте... как опять?.. Мы Гамлета еще не играли...

— Я не могу... — с трудом вымолвила Наташа.

— Как-с... не можете... не можете, для меня, для моего собственного бенефиса... когда я сам играю...

Иван Кузьмич, как директор труппы, играл весьма редко, но воображал себя удивительным актером, и выступал на сцену только в особых случаях, где почитал необходимым поддержать славу своей труппы.

— Не можете, — продолжал он сквозь зубы, — не можете, когда я сам объявил публике, афишки разосланы... в кассе деньги берут... Хорошо-с. Обязанности своей выполнить не можете... а срамить нас своим поведением можете. С одним целуетесь... с другим деретесь. На что это похоже? что это такое?.. Многого я, кажется, насмотрелся, а еще ничего такого не видал. Везде говорят... Такой стыд!.. Стыдно, сударыня... Прошу сказать мне решительно... будете ли играть?..

— Ей-богу... не могу...

— Да что ж это значит, наконец? позвольте спросить. За кого вы меня принимаете? а?.. Что же, вы меня совсем разорить хотите?

— Я...

— Да-с — вы... Гимназист-то, по вашей милости, дал тягу... собаками теперь не отыщешь. Хорошо, что еще кое-что старого жалованья за мной... так оно — ничто... однако все-таки важная потеря... Репертуар весь мой испорчен. Малый он бойкий... ну да, что ни говори, и благородных.

— Из благородных... — бессмысленно повторила Наташа.

— Да-с. Он не то чтобы ваш брат, из податного сословия: у него родной дядя надворный советник. А для меня, признаться, лестно было, что у меня такие люди в труппе... да, видно, уж вы такие... ни с кем не сладите...

Наташа начала плакать.

— Напрасно беспокоитесь: этими штуками меня не подденете. Амурьтесь сколько вам угодно, а дело свое делайте. Вы уж, кажется, забыли, что по моей милости не умираете с голоду. На чьи деньги квартиру нанимаете? позвольте спросить... На чьи деньги вам харчи отпускаются? позвольте спросить...

— Я, право, нездорова... — прошептала Наташа.

— Нездоровы... ну, так и быть, завтра... послезавтра будьте больны сколько угодно... я вам дам, пожалуй, отпуск на три дня... Вы видите, что я за человек. Кажется, могли бы это чувствовать. Иван Кузьмич на все нужен... давай только денежки... А как Иван Кузьмич попросит для себя одолжения — так и не хочется, и не можно, и нездорова.

— Извольте! — сказала решительно Наташа, — я буду играть.

— То-то же... давно бы так... Смотрите же, не опоздайте. Вот и костюм ваш я принес в узелке... В первых действиях вы принцессой... Оно вам и по характеру. В красном, плисовом платье с шлейфом... правая сторона немного повытерлась... так вы, смотрите, становитесь к публике левым боком. Вот и стразовое ожерелье... Начало в 6 часов.

После разных наставлений Иван Кузьмич, немного успокоенный, спустился по лестнице, повторяя известный гамлетовский монолог.

Вечером театр был полнехонек. Ремонтеры занимали весь первый ряд кресел. Отчаянный гусар в новых, блестящих эполетах нагло посматривал во все стороны. Малиновый майор сидел повеся голову и казался не в духе.

Утром отослал он к гусару двадцать четыре бутылки шампанского, но приказал объявить ему притом, что пить их с ним не будет, потому что кое-что узнал, и с нынешнего дня прекращает с ним всякое сношение. Гусар расхорохорился, вызвал майора стреляться через платок, выбрал шесть человек секундантов и изумил всех своей кровожадностью. Майор хладнокровно согласился на поединок. Но поединок был отложен, по предложению же гусара, до окончания ярмарки и, неизвестно по каким причинам, никогда не состоялся...

Публика давно ожидала начала пьесы, но пьеса не начиналась... Наташи в театре еще не было. Иван Кузьмич, обтянув свое дородство в черное трико, ходил в большом волнении на сцене, посылая ежеминутно гонцов за опоздавшей Офелией. Наконец Петров прибежал, задыхаясь, объявить, что Наташа уж готова и сейчас будет. Занавес подняли. Иван Кузьмич начал разводить руками, всхлипывать, декламировать каким-то притворно-напыщенным тоном и был осыпан рукоплесканиями.

«Ай да актер! — слышалось в толпе, — собаку съел... Нечего сказать, мастер своего дела! Слова просто не скажет». Но когда Офелия вошла на сцену, все зрители с удивлением взглянули друг на друга. Что-то сверхъестественное было в чертах ее, в театре как бы светлее стало при ее появлении. Иван Кузьмич сгорел со стыда.

Наташа не надела ни плисового платья, ни стразовых пуговиц, а простое белое платье с длинными висячими рукавами; но в этом простом платье она была так величава, так воздушно-прекрасна, как никогда еще не бывала даже в самые светлые дни своей жизни. В

очах ее горело пламя тихого вдохновения, а на устах выражалась улыбка презрительного прощения всем житейским оскорблениям и бедствиям. Публика молча не сводила с нее взоров; даже ремонтеры молчали... Никогда, может быть, все неуловимые оттенки высокого шекспировского создания не были переданы с таким глубоким выражением бедной Офелией, как в этот вечер... Никто не понимал, что было истинно неподражаемого в ее игре, но все едва переводили дыхание, как перед чем-то непонятным, необыкновенным. И когда Офелия, с распущенными волосами, с полевыми цветочками в руках, с безумием на лице, вбежала на сцену и вдруг, остановившись, засмеялась... некоторые зрители содрогнулись, некоторые захотели аплодировать, но остановились, сами не зная почему... Тихо, едва внятно начала она свою последнюю песнь, песнь обманутой любви, обманутой жизни; но по мере того, как она пела, голос ее становился громче и громче, песнь звучала сильнее и сильнее, и вдруг потрясла она все своды театра, болезненно раздалась во всех сердцах и все становилась громче и сильнее и замерла наконец пронзительным воплем, последним, роковым прощанием с жизнью... Четвертое действие кончилось.

Занавес опустили. Публика очнулась, начала шуметь, кричать, вызывать г-жу Федорову... Но г-жа Федорова не являлась. Иван Кузьмич пришел объявить, что ее в театре уж нет.

Тихо, безмолвно, как бы движимая чужой, невидимой силой, возвращалась Наташа домой. Длинные волосы ее закрывали ее плечи... В руках держала она полевые цветы... Встретившие ее два офицера хотели было вступить с ней в разговор... но она так странно взглянула на них, что оба с ужасом отскочили назад. По окончании пьесы публика разошлась с веселым говором по домам, но всех довольнее бенефисом был сам Иван Кузьмич: он возвратился на свою квартиру с самыми сладкими мечтами. Он сам не подозревал в Наташе таких высоких драматических способностей и открывал в них верный источник для несомненного обогащения... Засыпая, он строил большой каменный театр, с ложами в три яруса, с механическими кулисами, выписывал певцов из Москвы, устраивал кордебалет, становился лицом значительным, до того значительным и богатым, что покупал дома, давал обеды всем губернским чиновникам, и даже сам губернатор приезжал к нему запросто пить чай... На другой день утром он оделся щеголем и решил отправиться к Наташе и обворожить ее своей любезностью. Дорогой встретился он с двумя или тремя знакомыми, бывавшими в Петербурге, которые поздравляли его с вчерашним бенефисом, утверждая, что подобной г-жи Федоровой они даже и в столице не видывали.

Иван Кузьмич благодарил с видом самодовольной скромности, приговаривая: «Да-с, девочка с дарованием... Поучится... будет из нее толк... Жила с дворянами... Обхождение, сейчас видно, деликатное... впрочем, я жалованье ей даю хорошее...»

Наконец Иван Кузьмич дошел до домика, где жила Наташа, и остановился у подъезда... На ступенях сидел Петров.

— Наталья Павловна дома? — спросил приятным голосом Иван Кузьмич.

— Почивает, кажется, — грустно отвечал Петров. — Я три раза подходил к дверям: ничего не слышно.

— Помилуйте, — прервал Иван Кузьмич, — десятый час: они уж, верно, вставши.

Иван Кузьмич вскарабкался по крутой лестнице к Наташиной комнатке. Петров молча шел за ним. Начали стучаться... Дверь распахнулась. Наташа лежала на постели, в белом платье. Видно было, что она всю ночь не раздевалась. Волосы ее в беспорядке падали на плечи и подушки, длинные рукава казались крыльями. Руки были сложены на груди, а в руках

держала она образ, подаренный ей некогда графиней. На полу валялось несколько иссохших цветков. В эту минуту солнечный луч блеснул сквозь узкое окно чердака и озарил всю комнату потоком света. Петров упал на колени. Иван Кузьмич всплеснул руками...

Наташа лежала мертвая.

Примечания

1

Впервые напечатано: «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным», ч. 2. СПб. 1846.

2

«

Скромница из Саланси» (фр.)

3

«Калиф Багдадский» (1800) — опера Ф. А. Буальдьё (1775–1834), французского композитора. «Толедские слепцы» — опера Э. Мегюля (1763–1817) «Два слепые из Толедо» (1806); обе оперы были очень популярны в России.

4

Колосова А. М. (1802–1880) — петербургская драматическая актриса.

5

Семенова Е. С. (1786–1849) — петербургская трагическая актриса.

6

...

названный доктором с тех пор, как он получил чин коллежского асессора. — Коллежский асессор — чин VIII класса, дававший право на потомственное дворянство и, соответственно, повышавший социальный статус чиновника.

7

«

Филатка и Мирошка» — водевиль актера П. Г. Григорьева 2-го (1807–1854) «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха и одна невеста» (поставлен впервые в 1831 г.) пользовался очень большой популярностью.